



*Белла Шагал (урожд. Розенфельд),
1911 г.*

BELLA CHAGALL

LUMIÈRES
ALLUMÉES

ГОРЯЩИЕ ОГНИ



chagall

НАСЛЕДСТВО

Мне почему-то хочется писать, мало того — писать на неуклюжем родном наречии, на котором я и говорить-то не говорила, с тех пор как покинула родительский дом.

Детские годы вдруг возвращаются издалека, подступают все ближе и ближе, так близко, что вбирают мое дыхание.

Ясно вижу пухленькую девчушку, что носится по всему дому, влетает во все двери по очереди или влезает на широкий подоконник и, затаившись, лежит на живо-те да болтает задранными ногами, — это я.

Отец, мама, обе бабушки, красавец дедушка, вся наша семья и семьи соседей, свадьбы и похороны, богачи и бедняки, улицы и сады нашего городка — все протекает перед глазами, как неспешные воды глубокой Двины.

Моего дома больше нет.

Все прошло, все, наверное, вымерло.

Отец — да будет он нам заступником на небесах! — умер. Мама живет — Бог весть! — в гойском городе, среди чужих. Дети рассеяны кто где — на этом и на том свете. Но из всего сгинувшего наследства каждый унес с собой, как клочок отцовского савана, память о родном доме, его дух.

Я разворачиваю свой клочок наследства — и поднимаются запахи этого старого дома.

Уши наполняются звуками: голоса в магазине, напевное молитвословие раввина по большим праздникам. Тени скользят из всех углов, и стоит коснуться какой-нибудь из них, как она увлекает меня в призрачный хоровод. Тени обступают, толкают в спину, хлопают по плечам, хватают за руки и за ноги, наконец, облепляют

меня все разом, точно жужжащий мухиный рой в знойный полдень. И никуда от них не скрыться.

И вот однажды мне захотелось вырвать из небытия день, час, минуту той позабытой жизни.

Но как... как, Боже мой, оживить мгновения? Извлечь капли жизни из засохших воспоминаний так трудно! Тем более что эти скудные воспоминания меркнут, меркнут и вскоре исчезнут со мною вместе.

Я бы хотела их спасти.

Да ведь и ты, мой верный, нежный друг, помнится, не раз просил меня рассказать, как я жила до встречи с тобой.

Что ж, пишу для тебя.

Тебе наш город еще дороже, чем мне. И ты своим любящим сердцем поймешь все то, чего я не сумею высказать словами...

Одно лишь мучает. А поймет ли моя кровиночка-дочка, которая в том доме провела всего лишь год, первый год своей жизни?

Сен-Дье, 1939

ДВОР

После завтрака все расходятся, и дом пустеет.

Большой дом, а в нем совсем никого. Хоть впускай козу со двора или кур из курятника. Слышно только, как хлюпает вода на кухне — моют посуду.

— Ты подмела пол в столовой? — раздается оттуда, и из кухонной двери вылетает Саша со шваброй в руках. — Ты что тут делаешь?

— Ничего!

— Ну-ка выйди! Мне надо подметсти.

— Подметай, кто тебе мешает?

Вместе с крошками швабра выметает последние отзвуки застольных разговоров. Столовая остыла.

Разом постарели стены. Бросается в глаза, как выцвели обои. Со стола все убрали, и он нелепо торчит посреди комнаты.

Я тут тоже явно лишняя.

Куда бы деваться?

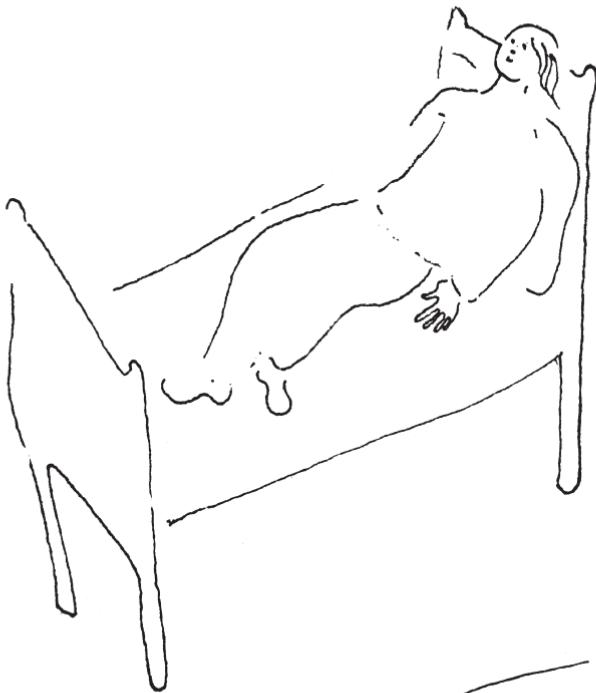
Иду бродить по дому. Забредаю в спальню. Узкие, гладко застеленные кровати похожи на клетки. Кому тут лежать среди дня?

Пара высоких кроватей, папина и мамина, сияет никелем. Никелированные прутья передней и задней спинок и огромные никелированные шары, как неприступные часовые.

Попробуй подойди — полыхнут в лицо как из пулемета. Я смотрюсь в зеркальный шар: перекошенное лицо, приплюснутый нос.

Бегу прочь и натыкаюсь на дверь.

Я и забыла про гостиную. Эта дверь всегда закрыта. Да и входить-то страшновато.



К свадьбе брата в гостиной, чтобы не осрамиться перед невестиной семьей, сменили стулья: вместо старых, венских, поставили новые, мягкие, и комната стала чужой, как будто отделилась от всего дома.

Здесь темно.

Зеленое плюшевое покрывало густым мхом облепляет диван. Стоит на него присесть или прилечь — даже коту! — как пружины издают стон: не дотрагивайся, больно!

На полу зеленым газоном — ковер.

Вытканные посередине розы заставляют почтительно обходить центр, чтобы и тень ноги не наступала на эту роскошь.

Даже высокое узкое зеркало отливает зеленью. Ведь в нем день и ночь отражаются вещи в зеленых тонах.

У окна сохнет с тоски старая пальма, одна-одинешенька в болотном полумраке.

Окно всегда закрыто и зашторено, бедной пальме на солнышко и не глянуть.

Вместо солнца поблескивают два бронзовых канделябра на высоких треножниках. В них шеренги коротких белых свечей, которые никогда не зажигаются.

Под потолком застыла бронзовая люстра с подрагивающими, как живые, хрустальными подвесками.

По ночам пальма думает, что на небе-потолке для нее мерцает какое-то светило, а подвижные хрусталики искрятся звездами. Чтобы держаться так долго и стойко, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, она сама должна быть прочнее бронзы...

В гостиной никто не задерживается подолгу. По ней переходят, как по трапу, перекинутому из одной комнаты в другую.

Только папа молится тут по утрам, накинув талес — молитвенное покрывало и надев филактерии*.

* Филактерии — кожаные коробочки со священными текстами, которые во время молитвы закрепляются ремешками на лбу и на левой руке. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

Ему, верно, кажется, что он выходит молиться в чистое поле.

Если же заходит в гостиную днем за какой-нибудь духовной книгой, старается не смотреть по сторонам.

Книжный шкаф — единственный предмет, который остался от прежней обстановки. Как стоял, так и стоит в углу около двери. Такую машину просто с места не сдвинешь.

Занятый своими книгами, шкаф замер в немой неподвижности, никак не отзыаясь на бурлящую в доме жизнь.

Я подхожу к нему, как к престарелому родственнику. Прикасаюсь рукой — низенькие ножки жалобно скрипят. Нелегко им поддерживать эту тяжесть.

Разглядываю ряды книг за стеклянными дверцами.

Каждая полка — святилище.

Вот тесно прижавшиеся друг к другу черные картонные корешки Гемары*, высокие и стройные, ни дать ни взять старые евреи, рядом вдоль стены, собирались, чтобы славить Господа.

На другой полке расположились толстенные фолианты, тут Махзор, сидуры** и сборники псалмов.

А на самых верхних громоздится столько пухлых молитвенников, что так и слышишь шепот! Книги просыпаются под моим взглядом.

Я поворачиваюсь и бегу, а они кричат мне вслед, как мой старый дед кричал маме: зачем меня учат русскому, наняли бы лучше преподавателя идиша!

И тут — ох! — я вспоминаю: сейчас придет маленький ребе давать мне урок и я опять буду засыпать над алфавитом. Как бы улизнуть?

— Башенька? Куда это ты бежишь как угорелая? — останавливает меня Саша.

— А тебе что? Никуда!

* Гемара — одна из двух частей Талмуда.

** Махзор — сборник праздничных молитв; сидуры — молитвенники.

И я выскакиваю во двор.

Ступеньки крыльца, хоть и железные, прогибаются под ногами. Они сделаны из тонких, не прилегающих друг к другу пластинок, а крыльцо довольно высокое. Лестница идет вверх и вниз, зигзагами. Перила поддерживают марши, словно цепи.

Верхний конец упирается в застекленный чердак, где живет фотограф. Нижний сбегает чуть ли не в середину двора.

А под самыми последними ступеньками мой домик.

Тут у меня целый магазин: досыхают пирожки из мокрого песка, расставлены консервные банки с овсяной мукой, камушками, черепками, цветными стекляшками — склад сокровищ, которые я подбираю во дворе и прячу, чтоб никто не затоптал.

Маленький квадратный двор стиснут высокими стенами. Тут свой мир. Солнце сюда не проникает. Высоко над головой виден кусочек неба. Свет свисает по стенам лоскутами.

Первый этаж по всему периметру занимают окна и двери гостиницы «Брози». Каждое окно — отдельный номер, из каждого смотрит голова. И каждый день новая. Как только заезжает новый гость, на окне опускается штора.

— Видишь, маленькая барышня? Новые постояльцы приехали. — Пекарь вышел во двор передохнуть и показывает мне на одно такое окошко. — Наверное, только что с поезда и отдыхают. Ты не будешь шуметь во дворе, правда?

Шуметь — я?

Жаль, я не успела расспросить его. Может, он бы объяснил, почему все они так устают с дороги. Ведь бежит-то поезд, а они сидят!

Старый пекарь знает, что я его боюсь, боюсь его перепачканного мукой лица, белого колпака и большого белого фартука.

Нет, но чтобы я шумела!